

Костюм появился в доме после приезда Верочки. Старшая дочка в кои-то веки приехала навещать родителей, выкроив время в перерыве между сессиями. Погостив четыре денька в деревне, она вновь умчалась в любимую столицу, помахав на прощанье престарелым родителям из окна «Жигулей», на которых за ней приехал ее друг («Только друг!» — уточнила она). После себя Верочка оставила батарею консервов для матери, а для отца — мужской костюм, приобретенный не где-нибудь, а в ГУМе, после пятичасового стояния в очереди. Костюм был черный, трех элементов, из модного кримплена. К нему заботливая дочь сумела раздобыть даже нейлоновую сорочку кипельно-белого цвета.

— Зачем он мне? — попытался было сопротивляться отец, но дочка объяснила, что костюм нужен обязательно, а если торжество?

— Да какие у нас торжества, дочка!

— Да мало ли какие! Бросишься, а надеть нечего. У мамы хоть платья есть, а у тебя? Вон ты даже на вашей свадьбе в рубахе одной был, — она кивнула на фотографию в рамке на стене. — Нельзя так, у каждого мужчины должен быть костюм к случаю, и точка! — сказала как отрезала.

Пришлось подарок принимать, и Михал Иванович повесил костюм в шкаф.

Как и предрекала дочка, случай скоро представился. У соседей женился сын. Свадьбу собирались играть добротную, на шестьдесят с лишним человек. Думать, что надеть, долго не пришлось: за лакированными створками шкафа томился в ожидании костюм. Михал Иванович утра отпахал в поле и к вечеру загнал старенький трактор на задний двор.

— Готова, что ли? — спросил он жену, переступив порог.

— А что мне готовиться! — буркнула жена, тоже утомившаяся после тяжелого рабочего дня. — Всю жизнь друг друга знаем, еще чего, вырядаться я буду! Посидим немного, да вернемся.

Михал Иванович оглядел жену: одета просто, в сарафан с накидкой, да косынку. «Куда я со своим костюмом! Буду как клоун в цирке!» — как подумал, так и сделал. Пошли в гости в чем были, по-простому, по-деревенски. Так и отгуляли соседскую свадьбу.

Прошло еще некоторое время. Жадная на события деревенская жизнь не подкидывала поводов для того, чтобы достать из шкафа подарок дочери. Проходили дни, месяцы. Иногда Михал Иванович вспоминал о костюме, и практичное сердце его екало от непригодности подарка. «Лучше бы мясорубку привезла, и то больше пользы», — с досадой думал он, глядя на черное великопепие. На Пасху приехала дочка и обиделась, узнав, что подарок так и не пришелся ко двору.

— Ты бы хоть померил его, как сидит? — но ее намеки не возымели должного действия.

Бежали трудолюбивые деревенские годы, и редкие праздники отлетали, как листья календаря, а костюм продолжал висеть, так ни разу и не надетый. Он был слишком не к месту 23 февраля, слишком вычурным на Новый год, чрезмерно нарядным на Первомай. Так и висел бы он ненадеванным еще много лет, да так получилось, что под Старый новый год остановилось у Михал Ивановича сердце. Прямо во сне. Похороны, как водится, назначили через три дня. В доме собрались

все жители деревни, приехали дочери, кто откуда, и старшая, Верочка, — раньше всех. Сидели возле гроба, стоявшего в центре комнаты на стульях, плакали и грустили по ушедшей на покой душе. В комнату заходили сочувствующие: соседи, друзья, дальние родственники.

— Ты гляди, какой красивый, как живой! — вздохнула соседка покойного.

— А костюм-то! — шепотом на ухо ей откликнулась другая.

И вправду: дочка с размером не ошиблась. Костюм сидел на Михал Иваныче как влитой.

## ВОСПОМИНАНИЯ

Это было во времена моей молодости, в восьмидесятые. В то время я работал в фотоателье. Я любил его бархатную тишину и своих клиентов, любил смотреть на их лица, искать выгодный ракурс, выстраивать свет. Склоненные головы, припыленные игрушки и цветные ткани фона — все застывало, скреплялось в проявочной для потомков. В выходные я отправлялся в город, чтобы снимать людей там. Меня влекли эти вылазки: снимки выходили живыми, в них было солнце, воздух, настроение.

В то летнее воскресенье я собрал аппаратуру и пошел по центральной улице в городской парк, где вечера прохлада. Публика, бороздящая аллеи, группки родителей возле аттракционов, дети, мчащиеся по кругу в двадцатый раз. Иногда меня кто-то окликал, и я подходил, делал снимок и вручал карточку с адресом. Я уже успел собрать порядочно заказов, но пленки еще было много. Вдруг взгляд мой упал на семью, что стояла под цветущей сиренью: отец, едва державшийся на ногах, мать, немногим трезвее, и две девочки лет семи-восьми: в их руках роняло слезы эскимо, а на головах белели опавшие банты.

— Давай сними нас! — развязно гаркнул мне мужчина.

Жена, услышав это, стала суетливо оправлять сарафан с мокрой кляксой на груди, ухватила детей, потянула. Они послушно встали рядом: тихие, незаметные, привыкшие. Она прижалась к пропахшему потом плечу, ища защиты, а он повис на ней, ища опоры. Они держались друг за друга, влюбленные в одну страсть, в одну беду, в одну жизнь.

Я встал напротив и, открыв объектив, посмотрел на четверку.

Я бы мог сделать отличный снимок. Я мог поймать свет так, что никто не разглядел бы ни потекшей туши, ни налитых красным глаз, ни одутловатых, истерзанных алкоголем, лиц. Я мог бы поставить детей боком, чтобы не было видно их распутившихся, старых бантов, так, чтобы скрыть ободранные коленки их матери, в конце концов заставить отца застегнуть рубашку, мог бы... И тогда этот снимок поселился бы на долгие годы среди семейных фотографий и стал бы из года в год напоминать об этом воскресном дне двум выросшим, уже все понимающим, женщинам. Ведь как-никак, это была моя работа — запечатлевать мгновения: без оценки, без эмоций, сохранять их и превращать в воспоминания... Конечно, я мог. Но я подошел к девочкам и присел на корточки: «У меня кончилась пленка», — сказал я.

Для них это был просто еще один день детства. Только я не хотел, чтобы они его запомнили.

## КОМИК

Он выходит на сцену, шурясь от ярких огней софитов. Открытый микрофон по пятницам — его личная Голгофа. Как он осмелился прийти сюда в надежде на успех? Публика нынче привередливая, хватит ли его таланта на то, чтобы в зале раздался хоть один жалкий хлопок? Монолог о собственной жизни, какая вульгарщина! Нужно было придум-

мать что-то особенное, но уже поздно что-то менять.

Мужчина в джинсах и мятой рубашке нервно сглатывает и подходит к микрофону. Из маленького зала на пару десятков столиков не доносится ни звука. Не гремят приборы, никто не пьет пиво. Они ждут его провала, его триумфа, его бегства. «Посмотрим, на что способен этот жалкий неудачник, — думают они, — с лысиной на макушке и странных ботинках, прилетевший на машине времени из далеких восьмидесятых».

Нельзя так долго молчать, все решат, что он забыл текст. Пора. Он начинает. Из пересохшего рта вылетает первая фраза, она со стуком ударяется о микрофон, и по залу разлетается чужой голос. Так скрипят половицы в доме его бабушки, так визжит электропила на лесопилке, так грохочет сушеный горох в жестяной банке. Ах, лучше бы ему быть сейчас дома. Дернул его черт на эту полукруглую сцену, обнажившую свое нутро перед этими оценивающими и пресыщенными взглядами. Но что это, улыбка? Женщина за третьим столиком и вправду улыбается? Или это выдумал он сам, в горячечном бреду ночного кошмара, ставшего явью? Нет, ему не кажется, она улыбается, пусть неуверенно, но все же...

Он видит еще одну, и еще, и уже не может не смотреть туда. Улыбки расцветают по всему залу, как цветы после утреннего ливня. Он слышит смех в конце зала. Не думать об этом. Нужно закончить выступление, потеря концентрации — и все пропало. Закон ораторского искусства: не позволять зрителю отвлечь себя. Снова смех! Где смеются? Прямо перед сценой? Он чувствует, как кровь заливает щеки. Смех, такой разный: высокий, как натянутая пружинка, утробный, как чрево коньячной бочки, оглушительный, безудержный, он сливается в многоголосый хор

и множится по всему залу, и вскоре сами стены сотрясаются от хохота.

Не поддаваться этому веселью, оставаться профессионалом, профи не смеются над собственными текстами. Плавно довести монолог до конца, да так, чтобы голос предательски не дрогнул. Смогу ли? А может, ну его, оборвать посередине и оставить зрителя как есть — покатывающегося со смеху, фыркающего в бокал, хлопающего себя по коленям, разевающего зубатый рот? Финальная фраза. Контрольный в голову. Конец. Можно выдохнуть. Зал взрывается аплодисментами, под них он покидает сцену. Ведущий за кулисами, утирая слезы, хлопает новичка по плечу:

— Ну ты даешь! — отсмеявшись, он переводит дух. — Отличная пародия, а какая самоирония! Я сам чуть со смеху не умер, а уж они, — он кивнул в зал, — просто в экстазе! Давненько такого не было, чтобы смеялись все до одного!

— К черту их всех, вместе с их смехом! Они должны были заплакать. Это был драматический этюд! ■